

Юлия Красносельская
**Каракозовское дело
в «Войне и мире»:**

ГЕНЕЗИС МОТИВА НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ
ЦАРЕУБИЙСТВА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ ЛЬВОМ ТОЛСТЫМ

Yulia Krasnoselskaya

The Karakozov Affair in *War and Peace*: The Genesis of the Unsuccessful Regicide Motive
and the Representation of Political Violence by Leo Tolstoy

Юлия Красносельская (МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, кафедра истории русской литературы, доцент; кандидат филологических наук) julkra@yandex.ru.

Yulia Krasnoselskaya (PhD; Associate Professor, Department of History of Russian Literature, Philological Faculty, Moscow State University) julkra@yandex.ru.

Ключевые слова: покушение Каракозова, польский вопрос, Отечественная война 1812 года, политическое насилие

Key words: Karakozov's assassination attempt, Polish question, French invasion of Russia, political violence

УДК: 821.161.1

DOI: 10.53953/08696365_2022_177_5_17

UDC: 821.161.1

DOI: 10.53953/08696365_2022_177_5_17

В работе показано, что эпизоды III–IV томов «Войны и мира», в которых описывается замысел Пьера убить Наполеона, его последующий плен и духовное воскресение после встречи с Платоном Каратаевым, создавались Толстым в том числе под впечатлением от покушения Д.В. Каракозова на Александра II 4 апреля 1866 года. Размышляя о природе насилия (исходящего как от верховной власти, так и от ее политических оппонентов — нигилистов), Толстой стремится выйти за пределы права в область чистой морали, находя ее идеальным выразителем в образе Платона Каратаева, сконструированном путем отталкивания как от символа политического радикализма — Каракозова, так и от фигуры, «официально назначенной» его идейным антагонистом — О.И. Комиссарова.

In this work, it is shown that the episodes in volumes 3–4 of *War and Peace*, describing Pierre's plan to kill Napoleon, his subsequent captivity, and his spiritual resurrection after meeting Platon Karataev were created by Tolstoy under the influence of, among other things, Dmitry Karakozov's attempt on Alexander II's life on April 4th, 1866. Musing on the nature of political violence (coming both from the empire or from its political opponents, the "nihilists"), Tolstoy tried to go beyond the limits of law into the sphere of pure morality, depicting its ideal spokesman in the image of Platon Karataev, which was constructed by moving away from both a symbol of political radicalism (Karakozov) and from a figure that was "officially designated" as his ideological antagonist (Osip Komissarov).

Московские «скитальчества» Пьера Безухова осенью 1812 года — замысел убить Наполеона, спасение ребенка, арест, допрос у Даву, присутствие на казни «поджигателей» и, наконец, судьбоносная встреча с Платоном Каратаевым — кажутся чрезвычайно важными для реконструкции морального императива Льва Толстого и его политического воображаемого. В этих эпизодах «Войны и мира» он исследует проблему власти и насилия, фактически уравнивая их при изображении «чрезвычайной ситуации» военного вторжения. Он показывает, как во время войны отдельная воля нивелируется безличным началом,

репрезентирующим как оккупационный режим, стремящийся подавить сопротивление и упразднить анархию военного времени, так и метафизическую силу необходимости. Став свидетелем расстрела пленных, Пьер понимает, что их убивают не столько подчиняющиеся приказу французы, сколько «оно», то есть высшая воля, определяющая ход истории. Казалось бы, противостоять ей не представляется возможным, ей можно только подчиниться. Тем не менее, полагает Толстой, человек способен остановить стихийное насилие и открыть дорогу добру путем непротивления злу (Платон Каратаев) или путем обнаружения в себе или в других неполитических истоков милосердия (Даву прощает Пьера, вместо того чтобы отправить на казнь). В целом, несмотря на присутствие локальных очагов хаоса и произвола, мир все равно гармоничен: символический сон о глобусе, который видит Пьер после расстрела Каратаева и накануне своего освобождения, показывает, что добро не может бесследно исчезнуть из мира, оно растворяет зло, даже если наружно проигрывает ему. «Любить жизнь... в безвинности страданий»¹ — вот самый трудный и важный урок, который преподает Толстой читателю в завершающем томе своей книги.

Почти зашкаливающая для реалистического нарратива степень концептуализации исторического материала проблематизирует правдоподобность этих сцен, заставляя читателя сомневаться в жизненности художественных фигур вроде милосердного Даву или «непротивленца» Каратаева. Создается впечатление, что Толстой был в данном случае больше озабочен не «правдой жизни», а конструированием модели бытия как «колеблющегося шара». Хотя, конечно, внутренняя логика романа мотивирует нравственный кризис, через который должен пройти Пьер, чтобы возмужать и принять мир с его не всегда постижимыми разумом законами, те формы, которые Толстой находит для воплощения этого замысла, кажутся искусственными или парадоксальными. Это почувствовала критика, обращавшая внимание, например, на необычность образа Каратаева — идеального и в то же время как бы ускользающего от расшифровки: в этом образе, по тонкой формулировке Д.С. Мережковского, «художник сделал как бы невозможное возможным: сумел определить живую, или, по крайней мере, на время кажущуюся живой личность в безличности, в отсутствии всяких определенных черт и острых углов» [Мережковский 2000: 115]. Абстрактная оболочка образа, впрочем, нередко заполнялась идеологизированным содержанием (так, Н.Н. Страхов провозгласил Каратаева воплощением «силы и красоты русского народа» [Страхов 2011: 343]), а если и оставалась пустой, то раздражала как подтверждение толстовского нигилизма, неконструктивного отрицания цивилизации и положительных идеалов человечества (см.: [Розанов 1913]).

Мы же попробуем показать, напротив, что эта умозрительная конструкция вызвана к жизни конкретными политическими обстоятельствами 1860-х годов и направлена на критику современных Толстому политических моделей развития России. В то же время Толстой сопротивляется тем объективациям идеала в идеологических формах, которых осуществляли его современники, поскольку это чревато насильственным его утверждением. Как пишет А. Бадью, критикуя «этическую» идеологию, «любая абсолютизация силы истины организует Зло» [Бадью 2006: 120], превращает Добро в свою противополож-

1 Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22 т. Т. 7. М.: Художественная литература, 1981. С. 169.

ность, но маскирует Зло под *личной* Добра. Соответственно, нужно, «чтобы сила истины была также и бессилием» [Там же], чтобы истина оставалась *неименуемой*, а Добро пребывало за пределами эмпирического, политического мира в своем абсолютном качестве. Нечто подобное мы находим и у Толстого, увенчивающего рассказ об ужасах военного времени расплывчатой фигурой Каратаева, одновременно и отвечающей на политические вызовы современности, и не поддающейся узкой трактовке моралистического, националистического или политического характера.

Чтобы подтвердить эту мысль, мы вернем указанные эпизоды «Войны и мира» из теоретического в историческое измерение, показав, как художественное воображение Толстого подпитывается из злободневных источников, как философская образность этих сцен складывается благодаря осмыслению писателем дела Д.В. Каракозова, совершившего 4 апреля 1866 года покушение на Александра II.

Интересующие нас главы III и IV томов имели под собой и мемуарную основу: канву повествования о московских мытарствах Пьера Толстому помогли выстроить записки В.А. Перовского. Использовались и другие источники: так, Л.И. Соболев в связи с царевбийственным планом Пьера вспоминает сны участников Отечественной войны, в которых те замыслили убийство Наполеона, но добавляет, что «Толстому едва ли нужна здесь чья бы то ни было подсказка» [Соболев 2021: 6]. Нас же будет занимать не использованный Толстым исторический «материал», а, как и В.Б. Шкловского или К. Фойер, его трансформация, обусловленная актуальными «подсказками» 1860-х годов (см.: [Фойер 2002; Шкловский 1928]). Они обуславливают ряд деталей, при помощи которых создается картина жизни Пьера в Москве, а также организацию системы персонажей и ее смысл: гармоничная сюжетная и идеологическая конструкция, которая строится на отношениях Пьера с Даву как полюсом зла, с одной стороны, и с Каратаевым как полюсом добра — с другой, была найдена, по нашему мнению, и благодаря осмыслению Толстым каракозовского дела.

Обратимся к фактической стороне вопроса. Над изображением 1812 года Толстой начинает работать весной 1866 года, летом работа прерывается, но возобновляется раньше обычного, в августе². Согласно Э.Е. Зайденшнур, первая редакция романа³ была закончена к осени 1866 года. В нее вошли московские эпизоды жизни Пьера, но в более краткой редакции (здесь пока нет Платона Каратаева). Позднее, в 1868 — начале 1869 года, в том числе на стадии правки корректур, эти эпизоды интенсивно перерабатываются, и в текст вводится Каратаев (см.: [Зайденшнур 1955: 97, 121—125]).

Описывая Москву при Наполеоне, Толстой, напомним, пользовался записками Перовского, задержанного в Москве осенью 1812 года. Семнадцатилетний квартирмейстерский офицер был остановлен французами, хотя формально и не взят в плен: генерал Себастьяни попросил его переговорить с Мюратом, обещая после этого отпустить, согласно условиям перемирия. Мюрат перенаправил Перовского к начальнику штаба армии генералу Бертье, и постепенно

2 См.: Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. 61. М.: Художественная литература, 1953. С. 147.

3 Рукопись № 89 в томе 14 Полного собрания сочинений или № 107 в более позднем издании первой завершённой редакции «Войны и мира» в томе 94 «Литературного наследия» (М., 1983).

французы перестали понимать, что за человек Перовский и каков его статус, тем более что в Москве начались пожары и отпустить русского офицера на волю было все более рискованным. В итоге Перовский предстает перед маршалом Даву, который ведет себя с ним чрезвычайно грубо и угрожает расстрелом, принимая за другого офицера, бежавшего из плена под Смоленском. Только очная ставка с адъютантом Даву спасает Перовского, которого после этого отводят в депо пленных (см.: [Перовский 1865]).

Сравнивая тексты Перовского и Толстого, Е.В. Строганова продемонстрировала, как Толстой «деформирует» первоисточник «в соответствии со своим художественным заданием» [Строганова 1993: 42]. Но если исследовательница концентрируется на особенностях психологической проработки темы Толстым, то мы попробуем выявить политические мотивы переделки эпизодов записок. Обозначим существенные в этом отношении различия между текстами. Случай Перовского был нетривиальным, поскольку он не признавал себя пленным и упрекал французов в несоблюдении кодекса чести. Поэтому Перовский, во-первых, не скрывает от Даву, кто он. Он как раз пытается разъяснить обстоятельства своего пребывания в Москве, понимая, что от этого зависит его судьба. Во-вторых, к Даву он попадает, уже побывав у Себастьяни, Мюрата и Бертье, то есть воспринимается французами как осведомленная персона, которую и освободить опасно, и расстрелять затруднительно. В-третьих, Даву прощает Перовского не столько по внезапному человеколюбию (проблески которого в нем есть, но заглушаются военной дисциплиной), сколько потому, что ситуация благополучно разъясняется благодаря его адъютанту.

Толстой расставляет акценты иначе. Ему важно усилить дистанцию между Пьером и Даву, подчеркивающую ощущение первым своей обреченности перед лицом «железного маршала». С исторической же точки зрения не вполне понятно, зачем его героя приводят к командующему первым корпусом наполеоновской армии. В отличие от Перовского Пьер выделяется из массы пленных только после драки с французами. На другой день в нем уже не видят кого-то особенного, обвиняют в поджигательстве и судят наравне с другими военно-судной комиссией⁴. Однако окончательное решение об участии поджигателей должен принять у Толстого именно Даву как «высшее и несколько таинственное звено власти»⁵. Сам Пьер поначалу не особенно интересен Даву, будучи воспринят как очередной поджигатель, а вот Даву для Пьера — самое страшное лицо из числа приближенных к Наполеону: не просто грубый солдат, каким он предстает у Перовского, а известный своей жестокостью человек («Аракчеев императора Наполеона», как сказано о нем выше⁶). Пьер страшится встречи с ним и потому, что, в отличие от жертвы обстоятельств Перовского, Безухов и виновен, и невиновен одновременно. Он невиновен в абсурдных обвинениях в поджогах или шпионаже (Даву, взглянув на него, вдруг решает, что это «un

4 О ее составе и вынесенном определении в отношении «зажигателей» см., например: [Михайловский-Данилевский 1843: 370—378]. Обратим внимание на слова историка о том, что «собственное сознание подсудимых, будто им велено зажигать, было вымышлено Французскою Комиссиею, или сделано подсудимыми из страха, для избежания лютоги врагов» [Там же: 377].

5 Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22 т. Т. 7. М.: Художественная литература, 1981. С. 41.

6 Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22 т. Т. 6. М.: Художественная литература, 1980. С. 24.

espion russe»⁷), однако, о чем французы не знают, но что чрезвычайно важно в этой истории, он замыслил убийство Наполеона. Поэтому Пьер не раскрывает ни того, кем он является (французами он аттестуется как «celui qui n'avoue pas son nom»⁸), ни причин, по которым разгуливал по оккупированной Москве. Только в ходе допроса, чувствуя себя на волоске от гибели, Пьер называет свою фамилию. При этом его подготовка к покушению была странной и непоследовательной: он запасается пистолетом, но так и не заряжает его, а также берет с собой тупой кинжал, хотя «не раз, обсуживая исполнение своего намерения, решал сам с собою, что главная ошибка студента в 1809 году состояла в том, что он хотел убить Наполеона кинжалом»⁹. Автор подчеркивает, что Пьер не вполне владеет собой: им движет «чувство потребности жертвы и страдания при сознании общего несчастья»¹⁰, которое настолько завладевает его душой, что все остальное словно растворяется в тумане и Пьер ничего не видит и не слышит вокруг себя. Он настолько не в состоянии обдумать средства исполнения своего замысла, что пропускает момент въезда Наполеона в город. Те же практические меры, которые он предпринимает, скорее вредят ему: думая участвовать в обороне Москвы, Безухов переодевается в кучерский кафтан, но в сочетании с его манерами и отличным французским языком такой маскарад создает самое подозрительное впечатление.

Итак, Толстой максимально драматизирует обстоятельства встречи Пьера с Даву, однако пристальный взгляд «железного маршала» на свою жертву неожиданно устанавливает между ними братские отношения. Хотя этот момент сложно признать не только исторически правдоподобным, но и психологически безупречным, Толстому важно свести героя с самым суровым из наполеоновских маршалов¹¹ и заставить последнего испытать прилив человеколюбия. Пользуясь терминологией Дж. Агамбена, можно сказать, что драматизм этой сцены обусловлен непосредственным столкновением человека, низведенного до «голой жизни» (даже назвав себя, Пьер все равно воспринимается как исключение из числа «мирных граждан», к которому могут быть применены любые репрессивные меры), с обладателем чрезвычайных полномочий, также выведенным за рамки «нормального» права. Но ситуация бесправия оборачивается не полным упразднением человеческого, а новым — духовным — обоснованием индивидуальности, порождающим и новые принципы социального взаимодействия.

Сопряжение Толстым политического и метафизического подчеркивает и сдвиг дат¹²: история Перовского завязалась 2 сентября, Даву допрашивает его 5-го; у Толстого же 2 сентября Пьер спасает Рамбаля, но на допрос к Даву попадает только 8-го, то есть в день Рождества Богородицы. Ужас происходящего подчеркнут тем, что на допрос его ведут под благовест, доносящийся из Новодевичьего монастыря. Тем не менее хотя еще недавно Пьеру казалось, что «все разрушилось, что нет ни правого, ни виноватого»¹³, ситуация правового и эк-

7 «Русский шпион» (фр.). Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22 т. Т. 7. С. 43.

8 «Тот, кто не говорит своего имени» (фр.). Там же. С. 41.

9 Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22 т. Т. 6. С. 402.

10 Там же. С. 372.

11 О репутации Даву см., например: [Захаров 2022].

12 Об этом см. также: [Maïogova 2010: 150–152].

13 Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22 т. Т. 6. С. 333.

зистенциального кризиса высвобождает в герое новое «я», способствует его нравственному перерождению. Эту идею помогают подсветить те детали повествования, которые отличают текст Толстого от мемуаров Перовского. Планируя царевичество, Пьер в реальности спасает нескольких человек: сперва Рамбаля от полусумасшедшего и пьяного Макара Алексеича Баздеева, стреляющего из украденного у Пьера пистолета, потом ребенка и, наконец, армянку. Все это подготавливает переворот в сознании Безухова, однако решающее изменение происходит позднее. После допроса и присутствия на казни (сцена, также отсутствующая в воспоминаниях Перовского) Пьер чувствует, что мир «заваливается» — уже не вследствие его собственной одержимости маниакальной идеей, а в силу ощущения бессмысленности и дикости того, что творится вокруг. Встреча с Каратаевым возвращает его к жизни, что делает еще более символичным религиозный праздник, к которому Толстой встречу приурочил: «Прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе»¹⁴. Пьер учится принимать мир вместе со всей неправдой, которую Платон не отрицает («Где суд, там и неправда»), но как бы перерабатывает, поглощает в себе. Опыт общения с Каратаевым избавляет Пьера и от экстремистских замыслов, и от отчаяния, в которое легко погрузиться при виде происходящего в Москве и на отступах от нее.

Исторический источник обеспечивал общую линию развития сюжета, общую достоверность описанного, но не расстановку религиозных и моральных акцентов. Записки Перовского не подкрепляли толстовскую идею отказа от вооруженных средств разрешения конфликтов, предвосхищающую теорию непотворения злу силой. Хотя при изображении Отечественной войны Толстой еще оправдывает патриотическую борьбу русских людей с захватчиками при помощи «дубины народной войны», он в то же время подчас выходит за пределы националистического дискурса его эпохи (см.: [Maiofova 2010]). Подобно тому, как колебания князя Андрея относительно целесообразности участия в административных начинаниях Сперанского казались П.В. Анненкову анахронизмом, характеризующим скорее современника Толстого с его рефлексией и разочарованностью, чем цельного и энергичного приближенного Александра I (см.: [Анненков 1879: 385—386]), сложная духовная работа, происходящая в Пьере при раздумьях о том, имеет ли он право убить Наполеона и как противостоять силе, которая заставляет убивать тех, кому ты лично не желаешь зла, отображает, мы полагаем, и размышления писателя о нигилизме и борьбе с ним в 1860-е годы. Покушение Каракозова, ставшее свидетельством готовности нигилистов выйти из подполья, перейти от слов к делу, от научных экспериментов и публицистических статей к террору, актуализировало дискуссию о правомерности подобных средств борьбы с репрессиями, исходящими от верховной власти, и о допустимых способах борьбы с нигилизмом в его идеологических и практических (революционных) формах.

К теме «нигилистических» корней замысла Пьера обращалась О. Меерсон, полагавшая, что этот мотив восходит к «Преступлению и наказанию» Ф.М. Достоевского, печатавшемуся в «Русском вестнике» в 1866 году (см.: [Meerson 1994]). Душевное состояние, в котором пребывает Пьер, заставляет Меерсон вспомнить сумятицу в душе Раскольникова до и после убийства и «наполео-

14 Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22 т. Т. 7. С. 54.

новскую» идею, которая им движет. Заметим, со своей стороны, что в черновиках романа Пьер в самом деле формулирует «право на убийство» в духе Достоевского:

Ужасное намерение, твердо взятое им, — убить человека — со всей ясностью действительности представилось ему. Он постоял, подумал. «Не только одного его, но всех убить имею право и должен», — сказал он себе и пошел дальше¹⁵.

Связывая наполеоновский мотив «Войны и мира» с «нигилистической» повестью, Меерсон подтверждает свою гипотезу словами Страхова о том, что в 1866 году только о «Преступлении и наказании» и говорили. Между тем обращение Достоевского к теме идейного преступления было обусловлено газетными сообщениями и судебными хрониками, посвященными убийствам по принципу или безо всякой причины, то есть реальными социально-политическими процессами в пореформенной России. Роман потому и казался пророческим, что вскоре после начала его публикации русское общество было ошеломлено покушением бывшего студента Московского университета Каракозова на царя-освободителя, чей авторитет был чрезвычайно высок. Поэтому нам кажется, что и в становлении московских эпизодов «Войны и мира» большую роль сыграл не литературный, а реальный политический нигилизм, в 1866 году прочно ассоциировавшийся с мрачной фигурой Каракозова.

События 4 апреля привлекли внимание Толстого, осудившего в письме А.А. Фету от 10...20 мая 1866 года последовавшую за покушением общественную истерию¹⁶. Страницы газет в это время отданы под верноподданнические адреса на высочайшее имя, составленные от лица разнообразных социальных, национальных и профессиональных групп или индивидуально. Нам уже доводилось писать, что изображение в «Войне и мире» ликования москвичей по поводу приезда Александра I для созыва ополчения летом 1812 года и совещания с дворянством и купечеством могли быть вызваны к жизни патриотическими восторгами по случаю спасения Александра II, казавшимися Толстому ненатуральными (см.: [Красносельская 2021]). Есть много и других косвенных подтверждений того, что он не остался равнодушен к каракозовской истории. Как известно, в 1881 году он обратится к Александру III с просьбой помиловать убийц отца¹⁷, и хотя это произойдет в момент его религиозного переворота, есть основания полагать, что его отношение к процессу над Каракозовым и его товарищами было сходным. По свидетельству Т.А. Кузминской, летом 1866 года Толстой испытывает то мрачное состояние, которое со временем приведет его к отрицанию прежних ценностей и к выработке своего оригинального вероучения:

Во Льве Николаевиче я нашла перемену. Он часто говорил о смерти. Помню, он сказал раз:

— Ведь как это мы все спокойно живем. А вместе с тем если хорошо вдуматься и живо представить себе смерть, то жить нельзя.

15 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 14. М.: Художественная литература, 1953. С. 287.

16 См.: Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 61. М.: Художественная литература, 1953. С. 138.

17 См.: Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 63. М.—Л.: Художественная литература, 1953. С. 44—59.

<...> Но это настроение приходило и уходило, так что нельзя было сказать определенно, что он был мрачен: в нем все же сидела бодрость и неисчерпаемая радость жизни, и это печальное настроение находило лишь изредка [Кузминская 1960: 407–408].

Сложно сказать, было ли это психологическое состояние обусловлено политическими событиями, но оно, очевидно, могло определить отношение к последним. Не сочувствуя радикалам и их методам борьбы со властью, Толстой не считал смертную казнь и репрессии правомерным ответом им. Не говоря об ужасе, который он пережил в 1857 году, присутствуя на гильотинировании во Франции, отметим более важный факт: летом 1866 года Толстой сам безуспешно пытался отстоять жизнь человека, осужденного на расстрел. Мы имеем в виду дело писаря Шабунина, ударившего ротного командира и преданного военно-полевому суду. Толстой решил защищать его и 16 июля выступил на суде с речью, заплакав в момент ее произнесения, однако суд не внял его доводам, и 9 августа Шабунин был расстрелян. Как признавался позднее Толстой П.И. Бирюкову, случай этот «имел на всю мою жизнь гораздо более влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни»¹⁸. Примерно в это же время было закончено следствие по делу Каракозова: 28 июня был образован Верховный уголовный суд, который собрался на первое заседание 18 августа, а уже 31 августа вынес Каракозову смертный приговор. 3 сентября он был приведен в исполнение. В «Московских ведомостях» сообщения о казни Шабунина и Каракозова появились практически синхронно: 1 сентября газета перепечатывает сообщение из «Тульского справочного листка» о деле Шабунина, цитируя речь Толстого, 4 сентября сообщает о приговоре Каракозову, а 6-го публикует отчет о его казни¹⁹.

Хотя, конечно, издерганного и пьющего писаря, давшего пощечину офицеру, и экс-студента — радикала, пытавшегося убить императора всероссийского, разделяла пропасть, и Толстой едва ли мог столь же близко принять к сердцу дело Каракозова, как принял он дело Шабунина, писатель не мог в это «смутное» время не задаваться вопросом о природе насилия, его видах и формах. Те детали московских эпизодов «Войны и мира», которые отсутствовали в «Записках» Перовского, заставляют вспомнить каракозовское дело: как и Пьер, Каракозов долго скрывал свое имя и происхождение, несмотря на все примененные к нему меры. Он выдавал себя за крестьянина Алексея Петрова или за мещанина, во что, впрочем, никто не верил: на его высокий социальный статус указывали и манеры, и тонкая белая сорочка, надетая под простонародную красную рубаху. Покушение в целом носило на себе отпечаток сумбурности и плохой подготовленности: так, при Каракозове был обнаружен пузырек со стрихнином, которым, однако, он не воспользовался, бросившись в бегство с места преступления; его личность была установлена после того, как в его гостиничном номере были обнаружены обрывки письма, которые вывели следствие на его двоюродного брата Н.А. Ишутина. Кроме того, выстрел Каракозова явился неожиданностью даже для его товарищей по москов-

18 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 37. М.: Художественная литература, 1956. С. 67.

19 См.: Московские ведомости. 1866. № 182. 1 сентября; № 185. 4 сентября; № 186. 6 сентября.

ской подпольной «Организации»: будучи уверены, что время для подобных акций еще не пришло, они отговаривали Каракозова от поспешных шагов и когда тот внезапно уехал в Петербург, отправили двух членов «Организации», Н.П. Страндена и П.Д. Ермолова, чтобы его вернуть (заметим, что и Пьер в черновых редакциях романа опасается погони за ним из дома). Случайно встретив на улице Каракозова, переодетого в мещанское платье, товарищи взяли с него слово, что тот откажется от своего замысла. Каракозов в самом деле вернулся в Москву, однако затем вновь исчез, чтобы все же привести в исполнение давно взятые намерение²⁰.

Все эти странности, вкуче с суицидальными наклонностями Каракозова и его одержимостью идеей царевубийства, создавали ощущение, что преступление было произведено им в силу «болезненных припадков меланхолии и ипохондрии»²¹. О том, что Каракозов пребывал в «возбужденном нервном состоянии», пресса стала сообщать сразу же, как только удалось установить личность преступника и выяснить основные факты его биографии, то есть в апреле 1866 года²². Ипохондрию подтверждали его товарищи; на нее ссылался на суде и сам Каракозов, на этом основании прося императора о помиловании. Этот аргумент использовал и его защитник А.П. Остряков, тем более что других обстоятельств, потенциально смягчающих вину его подопечного, придумать было невозможно. Учитывая популярность императора и малочисленность группы заговорщиков, Остряков упирал на то, что в теориях и замыслах «Организации» и ее наиболее экстремистского подразделения, «Ада», «мы видим не задуманный хотя и преступными, но серьезными людьми план государственного переустройства, а записки сумасшедших, вздумавших толковать о внутренней политике» [Клевенский, Котельников 1928: 262].

Несколько раньше, в защитительной речи по делу Шабунина, Толстой также апеллировал к умопомрачению как единственно возможному объяснению проступка писателя, которое могло бы его спасти. Шабунин, утверждал он, «не подвержен постоянному безумию, очевидному при докторском освидетельствовании, но душевное состояние его находится в ненормальном положении: он душевнобольной, лишенный одной из главных способностей человека, способности соображать последствия своих поступков. Ежели наука о душевных болезнях не признала этого душевного состояния болезнью, то я полагаю, прежде чем произносить смертный приговор, мы обязаны взглянуть пристальнее на это явление»²³. Далее с присущим ему мастерством психолога Толстой описывает, как болезненная сосредоточенность на одной мысли толкает человека на преступление.

Итак, обоих обвиняемых нельзя было признать невиновными не только де-юре, но и де-факто; в то же время оба чувствовали себя не столько преступниками, сколько жертвами государственных институций, репрезентированных для них отдельными лицами: невыносимость армейской дисциплины породила в Шабунине ненависть к ротному-полюку, изводившему его мелки-

20 См.: Записки сенатора Есиповича // Русская старина. 1909. № 3. См. также: [Базанов 1962; Клевенский, Котельников 1928; Шилов 1919].

21 О чудесном избавлении жизни Государя Императора от злодейской руки убийцы. СПб.: Изд. ред. журнала «Мирской вестник». 1866. С. 37.

22 См.: Московские ведомости. 1866. № 73. 8 апреля; № 78. 14 апреля.

23 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 37. С. 473.

ми придираками; ненависть Каракозова к самодержавию выразилась в стремлении уничтожить его символ и воплощение — царя, «обидевшего крестьян» и бывшего стержнем порочной политической системы. Одно насилие порождало встречное, что уравнивало враждующие силы и провоцировало в будущем новые очаги анархии и безумия, которым, как полагал Толстой (ср. его упомянутое выше письмо Фету от 10...20 мая 1866 года), была пропитана атмосфера того времени.

Хотя Толстой пытался использовать законные рычаги воздействия на государственную систему, предсказуемая развязка обоих дел должна была дать ему понять, что единственно возможный путь разрешения социальных конфликтов лежит вне области права и вне области насилия (будь то правоподдерживающего или правоустанавливающего). Говоря в «Войне и мире» об одержимости Пьера идеей покарать врага человеческого рода, Толстой не ищет герою оправдания: он убеждает читателя, что такого рода мысли в самом деле не вполне нормальны, то есть неестественны для человека, созданного для того, чтобы любить, а не убивать. Но по той же причине он не одобряет и тех, кто санкционирует убийство от имени государства: гораздо более, чем Пьер, страшен у него Даву, чувствующий себя воплощением закона в условиях военного времени. Тем не менее в душе Даву вспыхивает искра человеколюбия, которая в реальности не вспыхнула ни в душах в целом симпатичных Толстому членов военно-полевого суда, отправивших Шабунина на смерть, ни в душе главы Следственной комиссии по делу 4 апреля М.Н. Муравьева, без сомнения самого страшного человека России. Как писал секретарь Верховного уголовного суда Я.Г. Есипович, много сделавший для того, чтобы суд над Каракозовым и ишутинцами был справедливым и велся в соответствии с новыми судебными уставами (его мемуары Толстой читал в старости, хваля их простоту и наивность), один из подсудимых от страха даже оговорил себя, когда московская комиссия пригрозила отправить его к Муравьеву²⁴. Да и справедливый суд в итоге отправил Каракозова на виселицу, а его товарищей — в Сибирь, причем к Ишутину была применена та же варварская церемония, через которую прошел Достоевский и в определенной степени Пьер: его приговорили к смертной казни, помиловав (заменяв казнь каторгой) уже на эшафоте, после чего тот постепенно сошел с ума (см.: [Шилов 1919: 49—50]).

Страх на обывателя наводили и конспирологические теории, муслируемые до и после 4 апреля консервативной прессой, прежде всего «Московскими ведомостями». М.Н. Катков всецело одобрял назначение главой Следственной комиссии Муравьева, обещавшего «лечь костями» для распутывания истоков покушения, в котором ему виделось не деяние безумного одиночки, а спланированный преступной сетью заговор. По мнению Каткова, корни заговора вели в Польшу, и даже когда стало известно, что преступление совершено русским крайним социалистом, публицист по-прежнему уверял, что за подобными мальчишками стоят польские подстрекатели (см.: [Катков 1897: 272]). Более того, от событий 1866 года он протягивал нить к 1862—1863 годам, когда революционное подполье первый раз подняло голову. Вспоминая пожары 1862 года, Катков уверял, что, поскольку все их виновники не были своевременно выявлены, пожары продолжались и позднее, в 1864—1865 годах; так и поступок Каракозова есть очередная злодейская акция поджигателей (см.:

24 См.: Записки сенатора Есиповича // Русская старина. 1909. № 3. С. 559.

[Там же: 272—273]]²⁵. Позднее, когда Следственная комиссия не обнаружила следов участия ишутинцев в поджогах 1864—1865 годов, Катков сменил тактику, утверждая, что эти революционеры столь ничтожны, что на них надо смотреть как на «школьников, собирающихся на *выпивки*», поэтому в серьезных диверсиях они участвовать не могли. Скорее стоит распутывать след, ведущий к И.А. Худякову, который (с подачи, разумеется, тех же поляков) убедил впечатлительного Каракозова в существовании европейского революционного комитета, имеющего своей целью цареубийства [Там же: 365, 368, 396].

Итак, слухи об иностранных агентах и тайных обществах поджигателей и цареубийц — это для Толстого самая современная повестка дня, а не только исторический материал, добытый из журналов и архивов. Даже если мы имеем дело с простым сходством романа с живой действительностью, оно не могло не наводить на размышления. Тот же Катков сопоставлял войну с Наполеоном 1812 года, шедшую открыто, и современную «подземную войну» западных держав против России, ведущуюся посредством «интриг, обманов и предательств» [Там же: 462]. В «Войне и мире» шпиономания откровенно спародирована в эпизодах с сумасшедшим Макаром Алексеичем, который (что особенно заметно в черновых версиях романа) делит окружающих на шпионов и патриотов и тоже пытается застрелить Наполеона, принимая за него любого, кто повернется под руку:

— Бонапартий! иди во ад... — замок щелкнул, кремль ударил [по] огниву.
<...>

— Ты — шпионша? — кричал он. — Ты оружие отнять хочешь. Ты кто? Ты — баба. Изрублю. <...>

— Граф, — закричал он, — ты — патриот? Патриот ты? Нет? Ты кто? А? Или ты — подлец²⁶.

С учетом едкости, отчасти сохранившейся в этих сценах даже в печатном тексте «Войны и мира», рискнем предположить, что их могла бы постичь судьба заключительной части «Анны Карениной», если бы Толстой сам не прервал публикацию романа в «Русском вестнике». Однако «Война и мир», конечно, не политическая сатира, а нечто гораздо более сложное, так что и повествование о злоключениях Пьера выдержано в ином, более высоком регистре — подчас близком к трагическому, но все же постепенно уступающем место более жизнеутверждающему тону. Изображая момент истории, когда прежний закон перестает действовать, а основания нового не ясны (он определяется здесь и сейчас, что внушает ужас), и осуждая насилие, исходящее от обеих сторон конфликта, Толстой создает эмблематический образ Платона Каратаева, как бы выводящий человека за пределы политического измерения и порожденного им насилия. Но эта фигура также могла быть порождена историческими обстоятельствами 1860-х годов. Легко заметить, с какой последовательностью и даже навязчивостью сразу после 4 апреля Каракозову начинает противопоставляться «спаситель» императора О.И. Комиссаров. Сконструированный Э.И. Тотлебенем и подхваченный консервативной прессой комиссаровский миф нужно было придумать, чтобы найти противоядие нигилизму: в качестве

25 См. также: Московские ведомости. 1866. № 72. 7 апреля.

26 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 14. С. 399, 424.

такого противоядия предлагалась народность, состоявшая в преданности самодержавию. Толстовский Каратаев — это ответ и Каракозову, и его символическому антагонисту; и провластным идеологам, и радикалам, верящим в построение блага народа на крови. Любопытно, что в 1866—1868 годах крупнейшие русские писатели — каждый в своей манере — разрабатывают образ «положительно прекрасного человека»: Достоевский пишет роман «Идиот», Н.С. Лесков публикует «Котина Доильца и Платонида», а Толстой вводит в текст романа образ, воплощающий, с одной стороны, все «русское, доброе и круглое», а с другой — мало представимый в самой российской реальности. Точнее, если воспринимать этот образ реалистически, Каратаев демонстрирует то же юродство и христианскую неприспособленность к социальной жизни, что и Мышкин с Котином. «Русскость» Каратаева состоит не в лояльности престолу, а в непротивлении злу; она парадоксально сочетается с нигилизмом в широком смысле слова (как абсолютной идейной неформальностью, бездеятельностью, бессилием, отрешенностью от социального) и с фамилией, созвучной фамилии террориста (придуманной Толстым сразу и уже не менявшейся). Заметим, что, когда версия о польском происхождении Каракозова провалилась, пресса муссировала армянский след, а потом склонилась к татарскому происхождению революционера, формально аргументируя это его «нерусской» фамилией, а по сути — отметая саму возможность того, что русский человек мог покушаться на жизнь своего императора²⁷.

Однако мы уже отмечали, что правильнее воспринимать Каратаева не как воплощение русской народности (слишком уж мало он похож на солдата или крестьянина), а как философскую конструкцию, воплощающую «обособление сферы чистого бытия, составляющее основу западной метафизики» и имеющее «нечто общее с изоляцией голой жизни в пространстве ее политики» [Агамбен 2011: 231]. Согласно Агамбену, биополитическая направленность отличает и тоталитарные, и демократические государства, что ставит задачу нового обоснования власти и человека, которых следует мыслить скорее негативно, а не позитивно, дабы вновь не придать власти репрессивный характер, а человеку — жертвенный. Когда Пьер смеется над тем, что французы пытаются запереть в балагане его бессмертную душу, он выражает нелепость идеи сведения его «я» к телу, подвергнутому физическим лишениям и ограничениям. Его подлинное «я» не может быть взято под контроль, ибо носит и нематериальный, и ненациональный характер, то есть находится вне любого рода политики. Эту идею «внезаходимости» выражает и образ Каратаева, чистой духовной субстанции, также мыслимой не позитивно, а негативно, остающейся чистой возможностью, в отличие от Комиссарова, чей образ создается с пропагандистскими целями, а потому призван выражать конкретные («позитивные») политические ценности, и от Каракозова, также определенно (практически) выражающего идею разрушения этих ценностей. Каратаевская бездеятельность, как выразился бы Агамбен, задает идеал той высшей свободы, которая позволяет уйти от насильственного принуждения человека к какому-либо «делу».

27 См.: О чудесном избавлении жизни Государя Императора от злодейской руки убийцы. С. 37—38.

Библиография / References

- [Агамбен 2011] — *Агамбен Дж.* Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь / Пер. с итал. И. Левиной, О. Дубицкой, П. Соколова, М. Велижева, С. Козлова. М.: Европа, 2011.
- (*Agamben G.* Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita. Moscow, 2011. — In Russ.)
- [Анненков 1879] — *Анненков П.В.* Исторические и эстетические вопросы в романе гр. Л.Н. Толстого «Война и мир» // Воспоминания и критические очерки. Собрание статей и заметок П.В. Анненкова. 1849—1868 гг. Отдел второй. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1879. С. 364—386.
- (*Annenkov P.V.* Istoricheskie i esteticheskie voprosy v romane gr. L.N. Tolstogo "Voyna i mir" // Vospominaniya i kriticheskie ocherki. Sobranie statey i zametok P.V. Annenkova. 1849—1868 gg. Otdel vtoroy. Saint Petersburg, 1879. P. 364—386.)
- [Бадью 2006] — *Бадью А.* Этика: Очерк о сознании Зла / Пер. с фр. В.Е. Лапицкого. СПб.: Machina, 2006.
- (*Badiou A.* L'Éthique. Essai sur la conscience du mal. Saint Petersburg, 2006. — In Russ.)
- [Базанов 1962] — *Базанов В.И.* А. Худяков и покушение Каракозова // Русская литература. 1962. № 4. С. 146—163.
- (*Bazanov V.I.* A. Khudyakov i pokushenie Karakozova // Russkaya literatura. 1962. № 4. P. 146—163.)
- [Зайденшнур 1955] — *Зайденшнур Э.Е.* История писания и печатания «Войны и мира» // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. 16. М.: Художественная литература, 1955. С. 19—141.
- (*Zaydenshnur E.E.* Istoriya pisaniya i pechataniya "Voyny i mira" // Tolstoy L.N. Polnoe sobranie sochineniy: In 90 vols. Vol. 16. Moscow, 1955. P. 19—141.)
- [Захаров 2022] — *Захаров С.* Даву — полководец, администратор и человек (<http://www.adjudant.ru/fr-march/davout-in-life-00.htm> (дата обращения: 06.05.2022)).
- (*Zakharov S.* Davu — polkovodets, administrator i chelovek (<http://www.adjudant.ru/fr-march/davout-in-life-00.htm> (accessed: 06.05.2022)).)
- [Катков 1897] — *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1866 год. М.: Изд. С.П. Катковой, 1897.
- (*Katkov M.N.* Sobraniye peredovykh statey "Moskovskikh vedomostey". 1866. Moscow, 1897.)
- [Красносельская 2021] — *Красносельская Ю.И.* «1866 год» в «Войне и мире» Л.Н. Толстого: сцена созыва народного ополчения и ее социально-политические источники // Slověne. 2021. Т. 10. № 2. С. 18—41.
- (*Krasnosel'skaya Yu.I.* "1866 god" v "Voynе i mire" L.N. Tolstogo: stsena sozyva narodnogo opolcheniya i ee sotsial'no-politicheskie istochniki // Slověne. 2021. Vol. 10. № 2. P. 18—41.)
- [Кузминская 1960] — *Кузминская Т.А.* Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула: Тульское книжное издательство, 1960.
- (*Kuzminskaya T.A.* Moya zhizn' doma i v Yasnoy Polyane. Tula, 1960.)
- [Мережковский 2000] — *Мережковский Д.С.* Л. Толстой и Достоевский. М.: Наука, 2000.
- (*Merezhkovskiy D.S.* L. Tolstoy i Dostoevskiy. Moscow, 2000.)
- [Михайловский-Данилевский 1843] — *Михайловский-Данилевский А.И.* Описание Отечественной войны 1812 года, по Высочайшему повелению сочиненное генерал-лейтенантом Михайловским-Данилевским: В 4 ч. Ч. 2. СПб.: Тип. Штаба отдельного корпуса внутренней стражи, 1843.
- (*Mikhaylovskiy-Danilevskiy A.I.* Opisaniye Otechestvennoy voyny 1812 goda, po Vysochayshemu poveleniyu sochinennoye general-leytenantom Mikhaylovskim-Danilevskim: In 4 pts. Pt. 2. Saint Petersburg, 1843.)
- [Перовский 1865] — Из записок покойного графа Василия Алексеевича Перовского // Русский архив. 1865. Вып. 3. С. 145—159.
- (*Iz zapisok pokoynogo grafa Vasiliya Alekseyevicha Perovskogo* // Russkiy Arkhiv. 1865. Iss. 3. P. 145—159.)
- [Клевенский, Котельников 1928] — Покушение Каракозова. Стенографический отчет по делу Д. Каракозова, И. Худякова, Н. Ишутина и др.: В 2 т. Т. 1 / Подгот. М.М. Клевенский, К.Г. Котельников. М.: Изд-во Центрархива РСФСР, 1928.
- (*Pokushenie Karakozova. Stenograficheskiy otchet po delu D. Karakozova, I. Khudyakova, N. Ishutina i dr.*: In 2 vols. Vol. 1 / Prep. by M.M. Klevenskiy, K.G. Kotel'nikov. Moscow, 1928.)
- [Розанов 1913] — *Розанов В.В.* Идейные споры Л.Н. Толстого и Н.Н. Страхова // Новое время. 1913. 24—25 ноября, 4 декабря. № 13544, 13545, 13554.
- (*Rozanov V.V.* Ideynye spory L.N. Tolstogo i N.N. Strakhova // Novoye vremya. 1913. November 24—25, December 4. № 13544, 13545, 13554.)
- [Соболев 2021] — *Соболев Л.И.* Комментарий к книге Л.Н. Толстого «Война и мир». М.; СПб.: Нестор-История, 2021.

- (*Sobolev L.I.* Kommentariy k knige L.N. Tolstogo "Voyna i mir". Moscow; Saint Petersburg, 2021.)
- [Страхов 2011] — *Страхов Н.Н.* Критические статьи о И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом. Репр. изд. Ижевск: [Б.и.], 2011.
- (*Strakhov N.N.* Kriticheskiye stat'i o I.S. Turgeneve i L.N. Tolstom. Izhevsk, 2011.)
- [Строганова 1993] — *Строганова Е.Н.* В.А. Перовский: «Историческое лицо» и литературный персонаж // Война 1812 года и русская литература. Исследования и материалы / Отв. ред. М.В. Строганов. Тверь: ТГУ, 1993. С. 32—51.
- (*Stroganova E.N.* V.A. Perovskiy: "Istoricheskoe litso" i literaturnuyu personazh // Voyna 1812 goda i russkaya literatura. Issledovaniya i materialy / Ed. by M.V. Stroganov. Tver, 1993. P. 32—51.)
- [Фойер 2002] — *Фойер К.Б.* Генезис «Войны и мира» / Пер. с англ. Т. Бузиной. СПб.: Академический проект, 2002.
- (*Feuer K.B.* Tolstoy and the Genesis of War and peace. Saint Petersburg, 2002. — In Russ.)
- [Шилов 1919] — *Шилов А.А.* Каракозов и покушение 4 апреля 1866 года. Пг.: Гос. изд-во, 1919.
- (*Shilov A.A.* Karakozov i pokushenie 4 aprelya 1866 goda. Petrograd, 1919.)
- [Шкловский 1928] — *Шкловский В.Б.* Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М.: Федерация, 1928.
- (*Shklovsky V.B.* Mater'yal i stil' v romane L'va Tolstogo "Voyna i mir". Moscow, 1928.)
- [Maierova 2010] — *Maierova O.* From the Shadow of Empire: Defining the Russian Nation through Cultural Mythology, 1855—1870. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 2010.
- [Meerson 1994] — *Meerson O.* Literary Genesis of a Justification for Killing: From Posterity to Forefathers // Tolstoy Studies Journal. 1994. Vol. VII. P. 44—51.